

Сын олигарха: Английский бокс



Алексей Кукушкин

Алексей Кукушкин

Сын олигарха: Английский бокс

«Автор»

2026

Кукушкин А. Н.

Сын олигарха: Английский бокс / А. Н. Кукушкин — «Автор», 2026

Английский бокс в Итоне. Алексей Волков — сын русского олигарха, отправленный отцом в Итон «стать человеком». Он учится говорить без акцента, носить фрак, держать удар. Бокс становится его единственным языком: в нём нет лжи, нет отца, нет России. Победа над Кембриджем, квартира в Челси, девушка из оксфордской элиты, всё, о чём мечтал. Только Эмили уходит: «Ты не русский и не англичанин. Ты ничей». Алёша возвращается в Москву, где чужой среди своих, на вечеринке в Барвихе он садится за руль пьяным. Авария. Больница. Отец у койки. Монитор сбоит. Алёша проваливается в темноту и просыпается в чужом теле, в чужом веке, с чужими кулаками. Первая книга серии, о том, как человек, потерявший себя, начинает путь домой, через боль, кровь и кулачные бои по забытым правилам.

© Кукушкин А. Н., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Кто этот парень в зеркале	5
Глава 2. Ринг	13
Глава 3. Быть русским, это не диагноз	21
Г	27
Конец ознакомительного фрагмента.	28

Алексей Кукушкин

Сын олигарха: Английский бокс

Глава 1. Кто этот парень в зеркале

Кровь на снегу была не красной, она была чёрной, густой как машинное масло и тёплой, и я стоял босиком посреди белого поля, а вокруг орали, десятки голосов, сотни, и все на одном языке, которого я не знал, но понимал каждое слово, и кто-то схватил меня за плечо, развернул, и я увидел своё лицо, но чужое, бородатое, в синяках, с перебитым носом, и это лицо улыбалось мне, как старому другу, которого сто лет не видел, а потом — удар, и всё погасло, как будто кто-то выдернул шнур из розетки.

Я открыл глаза. Потолок. Белый. Идеально белый, без трещин, без теней, без намёка на то, что где-то там, за этим потолком, есть другой мир, где снег белый, а кровь — чёрная. Потолок Итона. Я лежал и смотрел в него, и сердце колотилось где-то в горле, как загнанная птица, а руки были холодные, и простыня сухая, не вспотел, и это хорошо, потому что в Итоне не любят, когда мальчишки потеют по ночам, хаузмастер мистер Тэйт сразу начинает задавать вопросы, а вопросы в Итоне — это всегда неприятности, неприятности — это лишние часы на кухне, неприятности — это письмо домой, а письмо домой — это разговор с отцом, а разговор с отцом — это, извините, последнее, чего мне хотелось в шесть тридцать утра.

Я сел. Короткий вдох. Длинный выдох. Так учил тренер по боксу, мистер Хэммонд: «Дыши через нос, Волков, рот для того, чтобы кричать, а кричать — удел слабых». Слабых в Итоне не любят. Слабых едят. Это я понял в первый же день, когда мне было тринадцать и я приехал сюда с одним чемоданом и русским акцентом, от которого у меня до сих пор сводило челюсти при одном воспоминании, как будто я накусался лимона с кожурой.

Бабушка говорила: «Сны, Алёшенька, они как гости, приходят и уходят, а ты их не удерживай, а то задержатся». А этот сон не уходил. Этот сон — как тот пёс, что жил у соседки в деревне, всё время шёл за тобой, и ты его гнал, а он всё шёл, и шёл, и шёл.

Я встал. Босые ноги — на холодный паркет, и от этого холода сразу прояснилось в голове, как будто меня окатили водой из проруби, хотя проруби в Итоне не положены, тут вообще ничего не положено, кроме расписания, формы и правил. Четыре шага до умывальника. Кран — ледяная вода. Лицо — в ладони. Подбородок — вверх. Посмотреть в зеркало.

И тут я замер.

В зеркале был мальчик. Семнадцать лет. Тёмные волосы, коротко, по-английски, гладко выбрит, в Итоне бриться начинают с пятнадцати, даже если щеки ещё детские, даже если от бритвы остаётся только раздражение и желание кого-нибудь убить, серые глаза, прямой нос, тонкие губы, которые я научился держать так, чтобы никогда не дрогнули, идеальный красавец, но чужой, как будто кто-то подменил меня в детстве, а я этого даже не заметил.

Who is this?

Я задал этот вопрос вслух, тихо, почти шёпотом, и сам себе не ответил, потому что ответа не было, Алексей Волков — это имя, которое я слышал от отца, Алексей — это имя, которое записано в паспорте, а вот кто этот парень в зеркале, я не знал уже года три, может, четыре, может, с тех самых пор, как перестал приезжать к бабушке на лето, с тех пор, как перестал говорить по-русски без акцента, с тех пор, как перестал думать на русском вообще.

Ладно, хватит соплей, сам себя не пожалеешь, никто не пожалеет. Я отвернулся от зеркала, четыре шага до шкафа, форма, серая, безупречная, белая рубашка, крахмальный воротник, тёмно-синий галстук с гербом колледжа, всё сложено с вечера, всё на своих местах, в Итоне вещи не валяются, в Итоне вещи живут по расписанию, как и мальчишки, как и все вокруг,

кроме, может быть, привидений в столовой, но про привидений тут не говорят, это не по-джентльменски.

Я оделся за четыре минуты, последний раз проверил себя в зеркале, галстук ровно, воротник ровно, волосы приглажены, всё как надо, всё как у всех, и только тут заметил часы на тумбочке, старые, с латунным циферблатом, которые мне подарил дед, тот самый, которого я почти не помню, и стрелки показывали шесть тридцать, как и вчера, и позавчера, и, кажется, всегда, и я подумал, что надо бы их подзавести, но не стал, потому что в Итоне не любят, когда вещи работают не так, как положено, а эти часы работали именно так, как положено — показывали шесть тридцать, и точка.

Я вышел в коридор, столкнулся с Томлинсоном, сыном адвоката из Бристоля, средним во всём, кроме своей посредственности, он кивнул: «Morning, Volkov», я кивнул в ответ: «Morning, Tomlinson», акцент безупречный, ни одной русской шероховатости, ни одной «э» там, где должно быть «и», отец был бы доволен, он платил двенадцать тысяч фунтов в год не за то, чтобы его сын говорил как дворник из Нижнего Новгорода, а дворник, между прочим, тоже человек, и иногда даже интересный, в отличие от половины oppidans в этом коридоре.

Вниз по лестнице, в столовую, запах — тосты, бекон, чёрный чай, столовая Итона — это не столовая, а зал для приёмов, дубовые панели, портреты выпускников, премьер-министров, генералов, епископов, все они смотрят на тебя сверху вниз, все они когда-то сидели за этими столами, все они умерли, и ты тоже умрёшь, но сначала станешь одним из них, по крайней мере так говорят, и я, если честно, уже не уверен, хочу ли я становиться одним из них, потому что они все выглядят так, будто умерли ещё при жизни, просто забыли лечь в гроб.

Я сел за свой стол, третий ряд от окна, рядом Чарльз, Чарльз Уитмор, сын баронета, крестник какого-то лорда, лучший друг, если слово «друг» вообще применимо к отношениям в Итоне, где нет друзей, есть только союзники, и то до первого провала, Чарльз поднял глаза от «Таймс», посмотрел на меня и медленно, с наслаждением, как кот, который нашёл мышь в своём ботинке, отложил газету.

— Ты плохо спал, Волков.

Не вопрос, констатация, как «сегодня вторник» или «чай цейлонский», и я подумал, что Чарльз мог бы работать в Scotland Yard, если бы его отец не разорился на скачках, а так он будет работать в каком-нибудь банке, и будет очень несчастен, но очень правильно одет.

— Откуда ты знаешь?

— У тебя под глазами тени, а ты, Volkov, никогда не выглядел так, будто видел привидение, разве что в зеркале по утрам, но это, полагаю, отдельный сорт ужаса.

Я налил себе чай, руки не дрожали, и это хорошо, в Итоне дрожащие руки — это как русский акцент, признак того, что ты не до конца вычистил из себя то, чем родился, чай горячий, молоко после, сахар одна ложка, всё как надо, всё как у всех, я сделал глоток, обжёг язык, и это хорошо, потому что боль — это ясно, боль — это здесь, а сон — где-то там, в белом поле, в чёрной крови, в лице, которое улыбалось мне его же лицом.

— Мне приснился сон, — сказал я, и сам не понял, зачем, Чарльз — не тот человек, которому рассказывают сны, Чарльз — тот, кому рассказывают оценки, и планы, и то, кто твой отец.

— Всем снятся сны, — сказал Чарльз. — Мне вот приснилось, что я сдал математику, проснулся — и понял, что это был не сон, а кошмар.

Он улыбнулся, той самой улыбкой, «я пошутил, но не совсем», и я хотел рассказать, про поле, про снег, про то, как меня развернули, и я увидел себя, но слова застревают где-то в горле, потому что я знал, Чарльз не поймёт, в Итоне не понимают снов, в Итоне понимают только то, что можно измерить, оценки, дистанцию в ярдах, сумму на банковском чеке.

— Кошмар? — спросил Чарльз.

— Что-то вроде.

— Расскажешь?

— Нет.

— Правильно, сны — это как носовые платки, их не показывают, ими вытирают слёзы, наедине.

Я посмотрел на него, Чарльз не издевался, Чарльз говорил правду, в Итоне это называлось дружбой, и я подумал, что если это дружба, то мне страшно представить, что тут называют враждой, наверное, дуэлью на пистолетах, впрочем, дуэли тут давно отменили, а жаль, иногда так хочется вызвать кого-нибудь на дуэль, хотя бы за то, что он ест твой йогурт из общего холодильника.

— Латынь сегодня, — сказал Чарльз, возвращаясь к газете. — Мистер Хэммонд обещал проверить «Энеиду», двенадцать строк, ты готов?

— Готов.

— Ты всегда готов, в этом и проблема, Волков, ты слишком готов, это пугает.

— Что именно пугает?

— То, что ты как часы, швейцарские, заведённые, и никогда не врут, а люди, Волков, люди всегда врут, особенно самим себе, и ты, боюсь, не исключение, хотя ты очень стараешься.

Я не ответил, допил чай, поставил чашку ровно, ручка вправо, ложка параллельно, всё как надо, всё как у всех, мы доели завтрак в тишине, в Итоне тишина за завтраком — это норма, разговоры после, после на уроки, после на ринг, после в библиотеку, всё по расписанию, всё по правилам, и я подумал, что если бы кто-то написал книгу про Итон, она называлась бы «Расписание», и была бы самой скучной книгой в мире, хотя, возможно, самой полезной.

Чарльз встал первым, сложил салфетку, положил справа от тарелки, кивнул мне, коротко, по-английски, это значило: «Я тебя вижу, я тебя понимаю, но спрашивать не буду», я встал следом, свою салфетку тоже сложил, тоже положил, тоже справа, всё как надо, всё как у всех, и пошёл к выходу, через столовую, где портреты смотрели сверху вниз, через коридор, где полы блестели как лёд, через дверь, за которой дождь, всегда дождь, и тут я поймал себя на мысли, что не помню, как дошёл до класса, я шёл по коридору, ноги сами, руки сами, спина прямая, подбородок вверх, всё как надо, всё как у всех, но внутри пусто, как в той столовой, как в том сне, как в том лице в зеркале.

Я остановился у двери класса, посмотрел на свою руку, которая тянулась к ручке двери, рука моя, но двигалась не моя, и я снова задал этот вопрос, тихо, про себя, и снова не получил ответа.

Who is this?

Дверь открылась изнутри, и там стоял мистер Хэммонд, в своём твидовом пиджаке, с той самой указкой, которой он бил по ладоням тех, кто путал падежи, и он посмотрел на меня так, как смотрят на опоздавшего, то есть как на насекомое, которое случайно забрело в стерильную лабораторию.

— Volkov. You're late.

И я понял, что сейчас будет не лучший день, хотя все дни в Итоне — не лучшие, просто некоторые хуже других, и этот, судя по всему, будет из тех, после которых хочется залезть под одеяло и не вылезать до выпускного, но одеяла в Итоне не положены, положены только расписание, форма и правила.

Трещина в зеркале начиналась от левого верхнего угла и шла по диагонали, как будто кто-то специально хотел расколоть моё отражение на две части, и я смотрел в эту трещину и видел себя раздвоенным, как в том фильме, где герой стрелял в зеркало, а потом выяснилось, что он стрелял в себя, только я не стрелял, я просто стоял и смотрел, и думал, что надо бы это зеркало поменять, но в Итоне зеркала не меняют, в Итоне зеркала живут столько, сколько живут портреты на стенах, то есть вечно, или пока не разобьются, а разбиваются они только тогда, когда кто-то решает, что его отражение ему больше не нравится, и это, как правило,

случается с теми, кто не сдал экзамены, или с теми, кто влюбился не в того, или с теми, кто понял, что он не тот, кем себя считал.

Бабушка говорила: «Зеркала, Алёшенька, они как окна в другой мир, только наоборот, ты в них смотришь, а из них на тебя смотрят, и если ты увидишь в зеркале не себя, а кого-то другого, беги, беги сразу, не оглядывайся». А я не бежал, я стоял и смотрел, и видел, как трещина делит моё лицо на две половины, и одна половина была английская, правильная, с аккуратно причёсанными волосами и глазами, которые никогда не врут, а другая — ну, другая была какая-то другая, и я не знал, какая, потому что не смотрел на неё достаточно долго, чтобы понять.

Душ в Итоне был всегда холодным, даже летом, даже когда за окном плюс двадцать, потому что, как говорил мистер Тэйт, холодная вода закаляет характер, а горячая портит кровь, и я стоял под этой холодной водой, и чувствовал, как она стекает по спине, как ледяные пальцы, и думал, что если бы я был в России, я бы сейчас сидел на берегу реки, и ноги были бы в воде, и бабушка говорила бы: «Не прячь лицо, Алёшенька, солнце любит, когда его видят», но я не был в России, я был в Итоне, и вода была холодная, и солнце не любило меня, потому что солнца в Итоне не было, был только дождь, всегда дождь.

Я вытерся полотенцем, жёстким, как наждачная бумага, потому что мягкие полотенца в Итоне не положены, мягкие полотенца — это для тех, кто не хочет закалять характер, и я оделся в спортивную форму, серую, как и всё в Итоне, но с красной полоской на рукаве, которая означала, что я из боксёрской команды, и эта полоска была единственным ярким пятном в моей жизни, если не считать, конечно, той чёрной крови на белом снегу, которая мне приснилась сегодня утром, и от которой я до сих пор не мог отделаться, как от занозы, которая сидит где-то под кожей, и ты её чувствуешь, но не можешь вытащить, потому что не знаешь, где она.

Я вышел в коридор, и там стоял Томлинсон, прижался к стене, как будто ждал кого-то, или как будто прятался от кого-то, и когда он увидел меня, он вздрогнул, как будто я был привидением, хотя привидения в Итоне не положены, положены только расписание, форма и правила.

— Volkov, — сказал он, и голос у него был какой-то странный, как будто он только что увидел что-то, чего видеть не должен был. — Ты идёшь на тренировку?

— Да, — сказал я. — А что?

— Ничего, просто, — он замялся, посмотрел по сторонам, как будто боялся, что нас кто-то подслушает, — просто Брэдшоу сегодня в ударе, он вчера побил своего спарринг-партнёра так, что того увезли в больницу, и все говорят, что он будет искать нового партнёра, и, ну, ты понимаешь.

Я понимал. Брэдшоу искал нового партнёра, и этот новый партнёр, скорее всего, буду я, потому что я был лучшим боксёром в школе, если не считать самого Брэдшоу, и потому что я был русский, а русские, как все знали, не боятся боли, и это, как оказалось, было единственным преимуществом быть русским в Итоне, потому что все остальные преимущества — душа, культура, литература — тут не ценились, тут ценились только деньги, акцент и умение не моргать, когда тебе бьют в лицо.

— Спасибо, что предупредил, — сказал я.

— Да не за что, — он пожал плечами, — просто подумал, что ты должен знать, а то вдруг ты не готов, или, ну, не в форме, или что-то в этом роде.

Я посмотрел на него, и подумал, что Томлинсон — хороший парень, в своём роде, он не злой, он просто боится, боится всего, боится не сдать экзамены, боится не поступить в университет, боится, что отец его разнаследует, боится, что умрёт, не оставив следа, и этот страх сидел в нём, как червь в яблоке, и портил его изнутри, и я понимал его, потому что сам боялся, только боялся другого, я боялся, что я не тот, кем себя считал, и что однажды кто-то

посмотрит на меня и скажет: «А ты, оказывается, не Волков, ты кто-то другой, и мы все это знали, просто не говорили».

— Пойдём, — сказал я. — А то опоздаем, а мистер Хэммонд не любит, когда опаздывают.

— Да, — сказал Томлинсон, и пошёл за мной, как утёнок за уткой, и я подумал, что если бы я был уткой, я бы его съел, но я не был уткой, я был боксёром, и боксёры уток не едят, боксёры едят только то, что им положено есть, а положено им есть белок, углеводы и витамины, и ничего больше, потому что тело — это храм, а храм не оскверняют фастфудом, как бы ни хотелось.

Мы шли по коридору, и я смотрел на стены, на портреты, на полы, которые блестели, как лёд, и думал, что если бы я мог сейчас оказаться где угодно, я бы оказался в деревне, у бабушки, и сидел бы на крыльце, и смотрел, как заходит солнце, и слушал, как поют сверчки, и чувствовал бы, как тёплый ветер касается лица, но я не мог, я был в Итоне, и шёл на тренировку, и должен был получить по лицу, и это, как говорится, жизнь, или, как говорил Чарльз, «неизбежное следствие выбора, который ты сделал, когда тебе было тринадцать».

Тринадцать. Мне было тринадцать, когда отец привёз меня в Итон, и сказал: «Ты будешь джентльменом, Алексей, ты будешь пить чай с лордами, и никто не узнает, что ты русский, если ты сам не скажешь», и я кивнул, потому что не знал, что ответить, и потому что боялся, что если я не кивну, он рассердится, а отец сердился редко, но метко, как снайпер, и я до сих пор помню, как он посмотрел на меня, когда я расплакался в машине, потому что мне было страшно, и он сказал: «Мужчины не плачут, Алексей, мужчины делают выбор, и ты сейчас сделал свой», и я перестал плакать, и больше не плакал никогда, по крайней мере, при нём.

Мы дошли до спортзала, и там уже пахло потом, резиной и старой кожей, и этот запах был мне знаком, как запах дома, только дом был не тут, дом был где-то в другом месте, в том месте, где снег белый, а кровь чёрная, и где мне улыбалось моё собственное лицо, но с перебитым носом и бородой, и я не знал, хочу ли я туда вернуться, или нет, потому что не знал, что там лучше, тут или там.

Брэдшоу уже был на ринге, разминался, бил по груше, и каждый удар звучал, как выстрел, и я подумал, что если он так бьёт по груше, то что он сделает со мной, и тут я увидел, что на груше — трещина, маленькая, еле заметная, но она была, и я подумал, что всё в этом месте было в трещинах, и зеркала, и груши, и, наверное, лица, только трещины были не снаружи, а внутри, и их не видно, пока не помотришь внимательно, а внимательно тут никто не смотрел, тут смотрели быстро, поверхностно, как смотрят на цены в магазине, чтобы понять, можешь ты это купить, или нет.

— Volkov, — сказал мистер Хэммонд, и посмотрел на меня так, как смотрят на мясо, которое нужно взвесить, чтобы понять, сколько оно стоит. — Ты сегодня с Брэдшоу.

— Yes, sir, — сказал я.

— Good, — сказал он. — Don't disappoint me.

И я подумал, что не разочарую его, я его разочарую позже, когда он поймёт, что я не тот, кем он меня считал, что я не идеальный швейцарские часы, что я вру, особенно самому себе, и что трещина в моём зеркале — это не трещина в стекле, а трещина во мне, и она идёт от левого верхнего угла, где начинаются сомнения, к правому нижнему, где заканчивается надежда, и я не знаю, когда она расколется меня окончательно, но знаю, что это случится, и, может быть, сегодня, на этом ринге, под этим холодным светом, который не любит никого, и под этим взглядом мистера Хэммонда, который любит только тех, кто не моргает, когда ему бьют в лицо.

Брэдшоу посмотрел на меня, и улыбнулся, той самой улыбкой, «я тебя сломаю, но по-дружески», и я улыбнулся в ответ, потому что в Итоне не показывают, что тебе страшно, в Итоне показывают только то, что ты готов, и я был готов, или, по крайней мере, делал вид, что

готов, а это, как известно, почти одно и то же, если не считать того, что когда тебе бьют в лицо, разница становится очень заметной.

Я натянул перчатки, красные, новые, кожа ещё мягкая, не разбитая, и подумал, что скоро она будет разбитой, и красной уже не будет, а будет коричневой, от крови, от пота, от всего того, что впитывает кожа, когда ты дерёшься, и что ты не можешь смыть, даже если моешь перчатки каждый день, потому что некоторые вещи остаются навсегда, как запахи, как сны, как трещины в зеркалах.

— Ready? — спросил мистер Хэммонд.

— Ready, sir, — сказал я.

И в этот момент я увидел, что в зеркале, которое висело на стене спортзала, тоже была трещина, и она шла точно так же, как в моей комнате, от левого верхнего угла к правому нижнему, и я подумал, что это не совпадение, что трещины везде, где я смотрю на себя, и что, может быть, это не я раздваиваюсь, а мир раздваивается вокруг меня, и что одна его половина — это Итон, а другая — это белое поле и чёрная кровь, и что я не знаю, в какой из них я настоящий, и что, может быть, я настоящий не в той и не в другой, а где-то ещё, в третьем месте, которого я пока не видел, но которое, чувствую, близко, очень близко, как удар, который вот-вот прилетит мне в лицо.

— Go, — сказал мистер Хэммонд.

И Брэдшоу пошёл вперёд, как танк, как паровоз, как всё, что не знает, что такое страх, и я отступил, шаг назад, ещё шаг, и подумал, что сегодня будет не лучший день, хотя все дни в Итоне — не лучшие, просто некоторые хуже других, и этот, судя по всему, будет из тех, после которых хочется залезть под одеяло и не вылезать до выпускного, но одеяла в Итоне не положены, положены только расписание, форма и правила, и перчатки, которые скоро будут красными от крови, моей или его, неважно, главное, что красными, потому что красное — это единственное, что тут настоящее, всё остальное — притворство, как мой акцент, как моя форма, как моё лицо в зеркале, которое я не узнаю.

— Being Russian is not a diagnosis, Volkov, but there is no cure, — сказал Чарльз, откусывая тост, и крошки посыпались на газету, прямо на фото моего отца, и я подумал, что это либо символ, либо просто Чарльз жрёт как свинья, хотя свиньи, как правило, не читают «Таймс» за завтраком.

Я смотрел на эти крошки, на фото отца, на его улыбку, которая говорила: «Я купил тебя, и ты будешь улыбаться, когда я скажу», и не знал, стряхнуть их или оставить, и решил оставить, потому что в Итоне не любят, когда ты что-то делаешь первым, а Чарльз уже сделал, и значит, мне оставалось только наблюдать, как его безупречные манеры рассыпаются по передовице, как его же собственная жизнь, если верить слухам, которые в Итоне расползаются быстрее, чем плесень на хлебе.

Бабушка говорила: «Крошки, Алёшенька, со стола сметать нельзя, это к бедности», а я сидел в Итоне, где бедность — это не когда нет денег, а когда у тебя отец не баронет, и крошки лежали на фото отца, и я думал, что бабушка была бы в ужасе, если бы увидела, как я живу, как я ем, как я дышу, как я не дышу по-русски уже четыре года.

— Ты меня слушаешь, Волков? — Чарльз посмотрел на меня с тем самым выражением, которое означало: «Я говорю интересные вещи, а ты витаешь в облаках, что не по-джентльменски».

— Слушаю, — сказал я. — Ты говорил про своего дядю, который дрался на крикетных битах.

— Я говорил про твою физиономию, — поправил он. — У тебя под глазами такие тени, что можно снимать хоррор без декораций, и если мистер Хэммонд это увидит, он отправит тебя к школьному психологу, а к школьному психологу у нас ходят только те, кто либо провалил

экзамены, либо влюбился в мальчика, либо увидел привидение, и я, честно говоря, не знаю, что из этого хуже.

Я не ответил, потому что не знал, что ответить, потому что привидение я видел, только не в Итоне, а в сне, и это привидение было мной, но с бородой и перебитым носом, и улыбалось мне так, как улыбаются старым друзьям, которых сто лет не видел, и я не мог рассказать об этом Чарльзу, потому что Чарльз не понял бы, Чарльз понимал только то, что можно измерить, как оценки, как дистанцию в ярдах, как сумму на банковском чеке, а сны — их не измеришь, их можно только пережить, как болезнь, как любовь, как похмелье, которое, кстати, в Итоне тоже не положено, но все его имеют, потому что все мы люди, а люди, как говорил мистер Тэйт, слабые существа, и только расписание делает нас сильными.

— Ладно, — сказал Чарльз, стряхивая крошки с газеты, но не все, некоторые так и остались на фото отца, как маленькие памятники его безупречности. — Пойдём на латынь, а то мистер Хэммонд опять будет бить нас указкой по ладоням, а у меня вчера концерт, и пальцы нужны целые.

— Какой концерт?

— Моцарт, фортепиано, в воскресенье, мать настаивает, — он вздохнул, как вздыхают люди, которые знают, что их жизнь расписана до минуты, и это расписание не их. — Ты придёшь?

— Приду, — сказал я, хотя не знал, приду ли, потому что в Итоне я приходил туда, куда было надо приходить, а не туда, куда хотелось, а хотелось мне, если честно, только одного — оказаться в том сне, и посмотреть, что там дальше, потому что сон оборвался на ударе, а что было после удара, я не знал, и это незнание сидело во мне, как кость в горле, и не давало глотать ни чай, ни слова, ни собственную жизнь.

Мы доели завтрак в тишине, в Итоне тишина за завтраком — это норма, разговоры — после, после — на уроки, после — на ринг, после — в библиотеку, всё по расписанию, всё по правилам, и я шёл за Чарльзом по коридору, и смотрел на портреты на стенах, и думал, что все они когда-то были такими, как я, такими, как Чарльз, такими, как Томлинсон, и все они стали портретами, и все они смотрят на нас сверху вниз, и, может быть, думают: «Ну-ну, посмотрим, что из вас выйдет, мальчики», и мне хотелось крикнуть им: «Не выйдет ничего, потому что мы уже не мы, мы — копии, копии тех, кто был до нас, и копии плохие, потому что оригиналы были живыми, а мы — нет», но я не кричал, потому что в Итоне не кричат, в Итоне шепчут, и то — только в туалете, а в туалете я шептать не хотел, потому что в туалете пахло не тем, чем должно пахнуть в Итоне.

Мы зашли в класс, мистер Хэммонд уже стоял у кафедры, с той самой указкой из чёрного дерева, которая досталась ему от его учителя, а тому — от его, и так далее, до бесконечности, как традиции в Итоне, как предрассудки, как презрение к тем, кто родился не с той стороны Темзы, и он посмотрел на меня, и я понял, что сегодня мне не повезёт, потому что мистер Хэммонд не любил, когда кто-то выглядел так, будто не выспался, а я выглядел именно так, и он открыл рот, чтобы сказать что-то неприятное, но в этот момент зазвонил звонок, и он закрыл рот, и это было маленькое чудо, как будто кто-то наверху посмотрел на меня и сказал: «Ладно, сегодня не будем его добивать, пусть помучается сам».

— Open your Virgil, — сказал мистер Хэммонд. — Page forty-seven. Twelve lines. Volkov, you first.

Я открыл книгу, нашёл нужную страницу, двенадцать строк, я знал их наизусть, ещё вчера вечером, но сейчас смотрел на буквы — и не видел слов, буквы были латинские, слова были чужие, как он сам, как я сам, как всё в этом месте, и я открыл рот, и начал читать, и голос был ровный, акцент безупречный, ни одной русской шероховатости, ни одной «э» там, где должно быть «и», и мистер Хэммонд кивнул, одобрительно, коротко, как кивают на скаковых лошадях, которые хорошо прошли поворот, и я читал, и слова выходили, правильно, ровно, как по нотам,

как по линейке, как по правилам Куинсберри, но внутри — пусто, как в той столовой, как в том сне, как в том лице в зеркале.

Arma virumque cano, Troiae qui primus ab oris Italiam, fato profugus, Laviniaque venit litora...

Оружие и человека пою, который первый из Трои берегов в Италию прибыл, изгнанник судьбою, к лавинийским берегам, и я думал, что Эней был изгнанником, как я, только его изгнали боги, а меня — отец, и его прибило к лавинийским берегам, а меня — к итонским, и я не знал, что хуже, потому что лавинийские берега, как говорят, были тёплыми, а итонские — холодные, как вода в душе, как взгляды портретов, как всё в этом месте.

— Excellent, Volkov, — сказал мистер Хэммонд. — Continue.

И я продолжил, и в этот момент произошло что-то странное, потому что буквы на странице — они зашевелились, они не просто стояли, они двигались, как муравьи, как те муравьи, что жили у бабушки в огороде, и ползли куда-то, и я моргнул, и подумал, что это от усталости, что это от недосыпа, что это от всего того, что накопилось за четыре года, и что надо просто сосредоточиться, и буквы встанут на место, но они не встали, они продолжали шевелиться, и из них складывались не латинские слова, а другие, русские, и они звали меня, и я слышал их, как слышат голос того, кого любишь, даже если этот голос — в голове, и я подумал, что я схожу с ума, что это нервный срыв, что надо идти к школьному психологу, но идти не хотелось, потому что голос звал, и звал он не к психологу, а куда-то ещё, туда, где снег белый, а кровь чёрная, и где мне улыбалось моё собственное лицо.

Чарльз посмотрел на меня, и я увидел, что он тоже видит, что буквы шевелятся, потому что его глаза были широкие, как у того оленя, которого я видел однажды в лесу у бабушки, когда мне было семь, и олень смотрел на меня, и я смотрел на оленя, и мы оба знали, что видим что-то, чего видеть не должны, и в этот момент Чарльз наклонился ко мне, и прошептал, впервые за четыре года, по-русски, с тем самым акцентом, который я так старательно стирал из себя:

— Volkov, ты в порядке?

И я не знал, что ответить, потому что не был в порядке, потому что буквы шевелились, потому что голос звал, потому что я впервые за четыре года услышал русскую речь из уст Чарльза, и это было так же странно, как если бы портрет на стене вдруг моргнул, и я посмотрел на Чарльза, и увидел, что он боится, боится за меня, боится за себя, боится за всё, что мы тут делаем, потому что мы тут не живём, мы — существуем, по расписанию, по форме, по правилам, и это не жизнь, это — имитация жизни, как имитация чая — чай в пакетиках, как имитация дружбы — дружба в Итоне, как имитация меня — я в зеркале.

И в этот момент я понял, что что-то начинается, что-то, чего я не могу остановить, что-то, что зовёт меня туда, где буквы шевелятся, где кровь чёрная, где мне улыбается моё собственное лицо, и я не знал, хочу ли я туда идти, но знал, что идти придётся, потому что зов — он как бабушкины сны, от них не убежишь, они догонят, они настигнут, они — ты.

Глава 2. Ринг

Мистер Хэммонд всегда говорил, что ринг, это единственное место, где человек остаётся наедине с собой, без масок, без акцента, без двенадцати тысяч фунтов в год, которые твой отец платит за твоё существование в этом богом забытом пансионе, и я стоял в своём углу, натягивая перчатки, и думал, что он, конечно, прав, но только отчасти, потому что наедине с собой я оставался не на ринге, а в зеркале, каждое утро, в шесть тридцать, когда стрелки моих дедовских часов показывали время, которое они, кажется, забыли, и я смотрел на этого мальчика с серыми глазами и тонкими губами, и не узнавал его, и это было куда страшнее любого Брэдшоу, который сейчас разминался в противоположном углу, бил по груше, и каждый удар звучал как выстрел, и груша, бедная, уже имела трещину, еле заметную, но она была, и я подумал, что всё в этом месте было в трещинах, и зеркала, и груши, и, наверное, лица, только трещины были не снаружи, а внутри, и их не видно, пока не посмотришь внимательно, а внимательно тут никто не смотрел, тут смотрели быстро, поверхностно, как смотрят на цены в магазине, чтобы понять, можешь ты это купить, или нет.

Разминка — десять минут, скакалка — три, бой с тенью — пять, всё по секундомеру, всё по науке, мистер Хэммонд не терпел импровизации, мистер Хэммонд был бывший чемпион Англии среди любителей, он дрался в семьдесят первом, в Мюнхене, и до сих пор помнил, как это — получать по лицу, и он научил этому меня, и я благодарен ему за это, хотя иногда мне кажется, что он научил меня не драться, а прятаться, прятаться за правилами, за перчатками, за раундами по три минуты, за всем тем, что делает бой цивилизованным, а меня — предсказуемым.

Брэдшоу стоял в своём углу, разминался лениво, как будто знал, что сегодня — не его день, как будто ему было всё равно, он улыбался, той самой улыбкой, «я тебя сломаю, но по-дружески», и я знал эту улыбку, видел её четыре года, на ринге, в столовой, в коридорах, и она всегда означала одно: Брэдшоу — свой, он не умнее других, но он — свой, его отец играл в регби с отцом Чарльза, его дед служил с дедом Чарльза, в Итоне это важнее, чем ум, в Итоне это важнее, чем всё, и я, если честно, иногда завидовал ему этой уверенности, этой принадлежности, этому знанию, что ты — на своём месте, потому что я не знал, на моём ли я месте, и было ли у меня вообще место, или я — как тот портрет на стене, который смотрит сверху вниз, и все знают, кто это, но никто не помнит, зачем он тут висит.

— Ready? — спросил мистер Хэммонд.

— Ready, sir.

— Go.

Брэдшоу пошёл вперёд, как танк, как паровоз, как русский медведь из анекдотов, которые Чарльз рассказывал за завтраком, и я подумал, что это, конечно, обидно, что меня сравнивают с медведем, хотя медведи, между прочим, очень умные животные, и если бы Чарльз когда-нибудь встретил настоящего медведя, он бы, наверное, передумал, но Чарльз никогда не встречал медведей, он встречал только людей, а люди — куда страшнее, по крайней мере, некоторые.

Я отступил, шаг назад, ещё шаг, руки у подбородка, локти прижаты к рёбрам, подбородок вжат в левое плечо, вес на задней ноге, всё по Куинсберри, всё по науке, всё так, как меня учили четыре года, и мистер Хэммонд кивнул, одобрительно, коротко, как кивают на скаковых лошадях, которые хорошо прошли поворот, и я подумал, что хорошо быть лошадкой, которая знает, куда бежать, а я — не знал, я бежал туда, куда меня гнали, и это, как говорится, не одно и то же.

Брэдшоу выбросил джеб, прямой, быстрый, но предсказуемый, я ушёл в сторону, голова влево, корпус вправо, джеб прошёл в воздухе, в дюйме от носа, и я почувствовал, как ветер от

его кулака коснулся моей щеки, и это было странно, потому что я мог бы ударить его в этот момент, мог бы войти внутрь, мог бы закончить бой за тридцать секунд, но не ударил, потому что не время, потому что правила, потому что мистер Хэммонд смотрит, и я — идеальный, я — правильный, я — джентльмен, и это, как сказал бы Чарльз, «очень по-английски», хотя Чарльз, если честно, иногда говорит такие вещи, от которых хочется его ударить, но я не бью Чарльза, я бью только по правилам, и только тех, кто этого заслуживает, а Чарльз — не заслуживает, потому что он, в сущности, хороший парень, просто очень боится, и этот страх сидит в нём, как червь в яблоке, и портит его изнутри, и я понимаю его, потому что сам боюсь, только боюсь другого.

Брэдшоу выбросил кросс, правый, тяжёлый, я нырнул, поднырнул под руку, вошёл внутрь, короткий, в печень, и Брэдшоу крикнул, звук, как будто кто-то ударил мешок с картошкой, и я подумал, что это, наверное, не очень джентльменская мысль, но мешок с картошкой — это именно то, на что это было похоже, и если бы Вудхауз, тот самый, который писал про Дживса и Вустера, увидел этот бой, он бы, наверное, написал что-то вроде: «Мистер Волков нанёс удар с точностью хирурга и безжалостностью мясника», и это было бы, пожалуй, самое точное описание, которое я когда-либо слышал о себе, хотя Вудхауз, конечно, меня не видел, и я его не видел, но я читал его, ещё в детстве, у бабушки, на даче, под яблоней, и тогда мне казалось, что мир — как его книги, уютный, предсказуемый, где всё заканчивается хорошо, и джентльмен всегда остаётся джентльменом, даже если ему бьют в лицо, но мир, как оказалось, не как книги Вудхауза, мир — как тот сон, что мне приснился сегодня утром, где снег белый, а кровь чёрная, и где мне улыбается моё собственное лицо, но с перебитым носом, и это, как говорится, две большие разницы, как говорил мой двоюродный дед, который, впрочем, не был мне никаким дедом, а был просто старым евреем из Одессы, который эмигрировал в Израиль и вернулся обратно, потому что, как он говорил, «там хорошо, а тут — дома», и я, если честно, не понял, что он имел в виду, тогда, в восемь лет, но сейчас, в семнадцать, стоя на этом ринге, в этом Итоне, с этим Брэдшоу напротив, я, кажется, начинаю понимать, хотя, может быть, и не хочу.

— Excellent, Volkov! — хлопнул в ладоши мистер Хэммонд. — Excellent form! Keep moving!

Я отступил, вернулся на свою дистанцию, снова руки у подбородка, снова вес на задней ноге, снова идеальный, снова правильный, снова джентльмен, и я подумал, что это слово, «джентльмен», оно как клетка, красивая, золочёная, с бархатными подушками внутри, но клетка, и ты в ней, и все смотрят на тебя, и восхищаются, и говорят: «Какой красивый зверь», а ты — хочешь выйти, хочешь на волю, хочешь туда, где снег белый, а кровь чёрная, и где тебе не нужно быть идеальным, потому что там, может быть, ты и не идеальный, но ты — настоящий, хотя, может быть, это одно и то же, а может быть, и нет, и я не знаю, и это незнание сидит во мне, как кость в горле, и не даёт глотать ни чай, ни слова, ни собственную жизнь.

Брэдшоу стоял в своём углу, дышал тяжело, рука на печени, он посмотрел на меня, и в его глазах было что-то странное, не злость, не боль, что-то вроде жалости, или скуки, и я подумал, что это, наверное, потому, что он знает, что сегодня не его день, что он не выиграет, что я — лучше, и это его не злит, а, наоборот, как будто освобождает, потому что ему не нужно притворяться, не нужно быть тем, кем он не является, и он может просто — быть, даже если это означает проиграть, и я, если честно, завидовал ему этой возможностью, этой простотой, этим знанием, что ты — это ты, даже если ты — не лучший, потому что я не знал, кто я, и это было, как говорится, хуже любого проигрыша.

— Ты дерёшься как робот, Волков, — сказал Брэдшоу, и я не ответил, потому что не знал, что ответить, потому что он, может быть, и прав, потому что я, может быть, и робот, швейцарские часы, заведённые, которые никогда не врут, как сказал Чарльз, и это, как оказалось, не комплимент, а диагноз, хотя Чарльз сказал бы, что диагноз — это когда у тебя температура

тридцать восемь, а у меня температуры нет, у меня есть только это незнание, эта пустота, эта трещина, которая идёт от левого верхнего угла к правому нижнему, и я не знаю, когда она расколется окончательно, но знаю, что это случится, и, может быть, сегодня, на этом ринге, под этим холодным светом, который не любит никого, и под этим взглядом мистера Хэммонда, который любит только тех, кто не моргает, когда ему бьют в лицо.

Я посмотрел на стену, на портрет чемпиона Итона двадцать третьего года, и подумал, что этот парень, на портрете, он, наверное, тоже стоял на этом ринге, и тоже дрался, и тоже не моргал, и тоже был идеальным, и тоже был предсказуемым, и что с ним стало, я не знал, но, кажется, догадывался, что он стал портретом, и смотрит на нас сверху вниз, и думает, наверное: «Ну-ну, посмотрим, что из вас выйдет, мальчики», и мне хотелось крикнуть ему: «Не выйдет ничего, потому что мы уже не мы, мы — копии, копии тех, кто был до нас, и копии плохие, потому что оригиналы были живыми, а мы — нет», но я не кричал, потому что в Итоне не кричат, в Итоне шепчут, и то — только в туалете, а в туалете я шептать не хотел, потому что в туалете пахло не тем, чем должно пахнуть в Итоне.

Брэдшоу пошёл снова, на этот раз без защиты, просто вперёд, руки опущены, подбородок открыт, он шёл, как будто хотел, чтобы его ударили, как будто устал, как будто ему было всё равно, и я подумал, что это, наверное, и есть та самая свобода, о которой говорила бабушка, свобода не делать того, что от тебя ждут, а делать то, что ты хочешь, даже если это — проиграть, и я, если честно, завидовал ему этой свободой, потому что сам не был свободен, потому что я делал то, что от меня ждали, четыре года, и это, как говорится, не свобода, это — клетка, пусть и золочёная, пусть и с бархатными подушками, но клетка, и я в ней, и все смотрят на меня, и восхищаются, и говорят: «Какой красивый зверь», а я — хочу выйти, хочу на волю, хочу туда, где снег белый, а кровь чёрная, и где мне не нужно быть идеальным.

Я выбросил джеб, Брэдшоу принял его в лоб, не моргнул, не отступил, и я подумал, что это, наверное, и есть та самая русская упрямость, о которой говорил отец, та самая, от которой он меня спасал, отправляя в Итон, и я, если честно, не знал, спас он меня или нет, потому что спасать-то, может, и спас, да только от чего, от себя, может быть, от той части меня, которая помнит снег, и кровь, и лицо, которое улыбается мне моим же лицом, и я не знаю, хорошо это или плохо, но знаю, что это — есть, и что это — во мне, и что это — не уйдёт, сколько бы я ни дрался по правилам Куинсберри, сколько бы я ни пил холодного чая, сколько бы я ни складывал салфетку справа от тарелки.

Мистер Хэммонд хлопал в ладоши, зрители — те, что были, а их было немного, потому что кто хочет смотреть на то, как один идеальный мальчик бьёт другого, пусть и большого, но не очень умного, — зрители вежливо аплодировали, и я подумал, что это, наверное, и есть та самая английская сдержанность, о которой так много говорят, сдержанность, которая не даёт тебе кричать, не даёт тебе плакать, не даёт тебе быть тем, кто ты есть, и я, если честно, устал от этой сдержанности, устал быть идеальным, устал быть предсказуемым, устал быть часами, которые никогда не врут, и я подумал, что, может быть, именно поэтому мне и снится этот сон, именно поэтому мне и снится белое поле, и чёрная кровь, и лицо, которое улыбается мне, потому что там, в том сне, я — не идеальный, я — не предсказуемый, я — настоящий, и это, как говорится, страшно, но, может быть, и правильно, хотя я не знаю, что правильно, и что — нет, и это незнание, как я уже говорил, сидит во мне, как кость в горле, и не даёт глотать.

Брэдшоу снова пошёл вперёд, и в этот момент я увидел, что в зеркале, которое висело на стене спортзала, тоже была трещина, и она шла точно так же, как в моей комнате, от левого верхнего угла к правому нижнему, и я подумал, что это не совпадение, что трещины везде, где я смотрю на себя, и что, может быть, это не я раздваиваюсь, а мир раздваивается вокруг меня, и что одна его половина — это Итон, а другая — это белое поле и чёрная кровь, и что я не знаю, в какой из них я настоящий, и что, может быть, я настоящий не в той и не в другой,

а где-то ещё, в третьем месте, которого я пока не видел, но которое, чувствую, близко, очень близко, как удар, который вот-вот прилетит мне в лицо.

— Go, — сказал мистер Хэммонд, хотя я и так шёл, хотя я и так дрался, хотя я и так был идеальным, и он, наверное, думал, что я — его лучшее творение, его шедевр, его швейцарские часы, которые никогда не врут, и я, если честно, не хотел его разочаровывать, но, кажется, уже разочаровал, хотя он этого ещё не знал, и, может быть, никогда не узнает, потому что я не скажу, потому что в Итоне не говорят о том, что чувствуешь, в Итоне говорят о том, что должно быть, и я — должно быть, и Брэдшоу — должно быть, и мистер Хэммонд — должно быть, и все мы — должно быть, и никто из нас — не есть, и это, как говорится, очень по-английски, хотя, может быть, и не совсем правильно.

Перчатка Брэдшоу пахла старой кожей и чем-то сладковатым, как будто он перед боем ел ириски, и эта мысль была последней здоровой мыслью, которая пришла мне в голову до того, как мир перевернулся, потому что Брэдшоу перестал бить по правилам, перестал держать дистанцию, перестал быть тем самым генеральским сыном, которого я знал четыре года, и пошёл на меня — не как боксёр, а как медведь, как тот медведь из бабушкиных сказок, который выходил из леса, когда ему надоедало притворяться ручным, и я отступил, шаг назад, ещё шаг, и понял, что правила Куинсберри кончились, хотя мистер Хэммонд этого ещё не знал, и зрители не знали, и даже Чарльз, который смотрел из угла с тем самым выражением, как будто он присутствовал на казни, но не своей, а чьей-то, чужой, и это его даже забавляло.

Брэдшоу вошёл в клинч, и это было запрещено, это было против всех правил, против всей той библии, которую мистер Хэммонд вбивал в нас четыре года, как гвозди в доску, но Брэдшоу вошёл, и его руки, тяжёлые, горячие, схватили меня за воротник, и я почувствовал, как крахмальная ткань хрустит у него в кулаке, и он притянул меня к себе, и я увидел его лицо — близко, очень близко, так близко, что я мог рассмотреть каждую пору на его носу, каждую ресницу, каждую каплю пота на лбу, и в его глазах было что-то странное, не злость, не ярость, а что-то вроде — усталости, или, может быть, жалости, как будто он знал что-то, чего не знал я, и сейчас, вот-вот, он мне это расскажет.

— Забудь правила, — прошипел он мне в ухо, и его дыхание пахло мятой, потому что перед боем он всегда жевал мятные конфеты, это была его привычка, его маленький ритуал, как у кого-то есть талисман, а у него — мятные конфеты, и я подумал, что это, наверное, очень по-английски, иметь такой маленький, уютный ритуал перед тем, как нарушить все правила. — На минуту. Забудь. Он ударил головой мне в нос.

Раздался сухой, короткий хруст, как будто кто-то сломал сухую ветку, и я отлетел, канаты ударили меня в спину, мягко, предательски мягко, потому что канаты в Итоне — они как всё в Итоне, они должны быть мягкими, чтобы джентльмен, который падает, не ушибся слишком сильно, чтобы он мог встать, отряхнуться и продолжить, по правилам, по расписанию, по всему тому, что делает этот мир предсказуемым, а меня — безопасным, но сейчас я лежал на канатах, и мир был не предсказуемым, и я был не безопасным, и из носа текло, тёплое, густое, и капало на белую рубашку, на крахмальный воротник, на идеальную форму, которую я гладил с вечера, как дурак, как робот, как идеальный английский джентльмен, и я смотрел на эти капли, и они были красные, нет, не красные, они были тёмные, почти чёрные, как в том сне, как на том снегу, и форма у них была странная, не круглая, а какая-то рваная, как будто они не падали, а падали и одновременно — летели, как в замедленной съёмке, как в том фильме, который я смотрел с бабушкой, когда мне было семь, и она сказала: «Видишь, Алёшенька, кровь — она всегда помнит, откуда она», и я тогда не понял, что она имеет в виду, а сейчас — понял, или, по крайней мере, почувствовал, что понял, хотя чувствовать и понимать — это, как оказалось, не одно и то же.

— Break! — заорал мистер Хэммонд, и его указка, та самая, из чёрного дерева, которая досталась ему от его учителя, а тому — от его, и так далее, до бесконечности, как тради-

ции в Итоне, как предрассудки, как презрение к тем, кто родился не с той стороны Темзы, — его указка выскользнула из его пальцев, и она покатилась по полу, и это было смешно, это было нелепо, потому что мистер Хэммонд, который всегда был воплощением английского спокойствия, который никогда не повышал голос, который всегда говорил так, как будто он читал лекцию в Оксфорде, а не орал в спортзале, — этот мистер Хэммонд сейчас орал, и его указка катилась по полу, и она остановилась у ноги Брэдшоу, и Брэдшоу посмотрел на неё, и на секунду мне показалось, что он сейчас её поднимет, и извинится, и скажет: «Sorry, sir, I lost my temper», и всё вернётся на круги своя, и я снова буду идеальным, и он снова будет своим, и мы снова будем драться по правилам, но он не поднял указку, он просто посмотрел на неё, и пошёл в свой угол, и я понял, что круги — они не всегда возвращаются на круги своя, иногда они просто — расходятся, как капли крови на белой рубашке.

Я встал.

Медленно.

Колени дрожали, нос горел, как будто туда кто-то засунул уголь, и я сплюнул, на пол, красная капля — на белое дерево, и я подумал, что это, наверное, очень символично, красное на белом, как в том сне, как в той газете, где крошки Чарльза упали на фото отца, как во всём, что со мной случалось последние четыре года, потому что я, как оказалось, не умел жить без этих символов, без этих знаков, без этих маленьких, незаметных подсказок, которые говорили мне: «Смотри, Алёша, ты не там, где ты думаешь, что ты есть», и я поднимался, и мир качался, и мистер Хэммонд смотрел на меня, и в его глазах было что-то новое, не ярость, не разочарование, а что-то вроде — страха, как будто он впервые увидел меня настоящего, и ему это не понравилось, потому что настоящее — оно, как правило, не нравится тем, кто привык к идеальному.

— Again? — спросил он, и голос у него был ровный, но я слышал, как в нём дрожит что-то, как струна, которую слишком сильно натянули, и я подумал, что это, наверное, первый раз за четыре года, когда мистер Хэммонд сомневается, и это было странно, потому что мистер Хэммонд не сомневался, он был как скала, как те скалы, что я видел на открытках из Дувра, и сейчас эта скала — треснула, и я не знал, радоваться мне этому или нет, потому что трещины — они, как правило, не останавливаются на одной.

— Again, sir, — сказал я, и голос у меня был ровный, хотя нос болел так, что хотелось выть, и я подумал, что это, наверное, очень по-русски, терпеть боль и делать вид, что её нет, потому что русские, как говорил отец, — они такие, они могут терпеть всё, кроме собственной правды, и я, если честно, не знал, хочу ли я быть таким, но знал, что уже — такой, потому что я стоял, и кровь текла, и мир качался, и я — не падал.

Мы сошлись снова.

И я дрался по правилам.

Джеб, кросс, нырок, шаг назад, всё по Куинсберри, всё по науке, всё так, как меня учили, и Брэдшоу — получал, удар за ударом, кровь за кровью, и он не нарушал больше правил, он не бил головой, он не хватал за воротник, он просто — шёл, и получал, и шёл, и получал, и я подумал, что это, наверное, и есть та самая английская справедливость, о которой так много говорят, справедливость, которая работает, пока ты играешь по правилам, но которая перестаёт работать, как только кто-то решает, что правила — не для него, и я не знал, что хуже, играть по правилам и проигрывать, или нарушать их и выигрывать, потому что и то, и другое — это, как оказалось, не жизнь, а имитация жизни, как имитация чая — чай в пакетиках, как имитация дружбы — дружба в Итоне, как имитация меня — я в зеркале.

Когда гонг ударил, я стоял в центре ринга, рука поднята, мистер Хэммонд держал её высоко, и я подумал, что это, наверное, очень похоже на те картины, что висят в столовой, где генералы поднимают руки победителей, и все аплодируют, и никто не замечает, что у победителя — разбитое лицо, и что он, может быть, не хочет, чтобы его рука была поднята, потому

что поднятая рука — это символ, а символы — они, как правила, они не спрашивают, чего ты хочешь, они просто — есть, и ты — в них, и ты — часть их, и ты — не ты.

Зрители хлопали, вежливо, сдержанно, как хлопают в Итоне, как хлопают в Англии, как хлопают там, где не принято показывать, что тебе что-то не нравится, и я посмотрел на Брэдшоу, и он стоял в своём углу, нос разбит, рубашка в крови, но он улыбался, той самой улыбкой, «я тебя предупредил», и я подумал, что это, наверное, и есть та самая русская упрямость, о которой говорил отец, упрямость, которая не даёт тебе сдаться, даже когда ты проиграл, даже когда у тебя разбит нос, даже когда весь мир против тебя, и я, если честно, не знал, гордиться мне этим или стыдиться, потому что я был и тем, и другим, и русским, и английским, и победителем, и проигравшим, и я не знал, кто я, и это, как говорится, было хуже любого проигрыша.

И в этот момент я услышал, как Брэдшоу сказал кому-то в углу, тихо, но так, что я услышал, потому что в спортзале было тихо, потому что все смотрели на меня, на победителя, на идеального, на предсказуемого:

— You fight like a Russian, Volkov. Savage, but predictable.

Дерёшься как русский. Дикий, но предсказуемый.

И я отвернулся, потому что не хотел, чтобы кто-то видел моё лицо, потому что я знал, что сейчас — я улыбаюсь, а улыбка — это слабость, в Итоне слабость не прощают, и я пошёл в раздевалку, и кровь капала с носа на пол, и за мной тянулся след, красная нить, которая вела меня туда, куда я не хотел идти, но куда, как я чувствовал, мне придётся идти, потому что нити — они, как трещины, они не останавливаются, они идут, пока не расколют всё, что было целым, и я не знал, что будет расколото, но знал, что это — случится, и, может быть, скоро, и, может быть, сегодня, и, может быть, в той раздевалке, где висело зеркало с трещиной, которая шла от левого верхнего угла к правому нижнему, как и везде, где я смотрел на себя.

Раздевалка пахла потом, дешёвым мылом и чем-то ещё, чем-то кислым, как будто кто-то забыл здесь носки три недели назад, и в Итоне это называлось «атмосферой победителей», и я всегда думал, что победители пахнут как-то иначе, дороже, например дорогим одеколоном и виски, как мой отец, когда он приезжал на родительские дни, и от него пахло так, что хотелось чихнуть, но вежливо, потому что отец — это отец, даже если он пахнет как ходячий дьюти-фри, но нет, победители пахли так же, как все, просто их пот считался благородным, как считалось благородным всё, что имело отношение к Итону, даже трещины в стенах, даже плесень в душевых, даже та штука, что росла в углу раздевалки и которую все старательно не замечали, потому что замечать — это значит признать, что тут не всё идеально, а идеальность — это, как известно, главная религия этого места, наравне с расписанием и формой.

Я сел на скамейку, деревянную, холодную, с занозой, которая впилась мне в бедро, и это было хорошо, потому что заноза — это ясно, заноза — это здесь, а всё остальное — где-то там, в том сне, в той крови, в том лице, которое улыбалось мне его же лицом, и я снял перчатки, медленно, шнурки мокрые, кожа разбухла, руки красные, костяшки в ссадинах, кровь — моя и Брэдшоу, смешалась, стала одной, и я смотрел на неё, и не понимал, чья она, и это было странно, потому что четыре года я знал, чья она, моя, конечно, моя кровь, мои победы, мои правила, а сейчас — не знал, и это незнание сидело во мне, как та самая заноза, только глубже, и не чесалось, а ныло, и я подумал, что это, наверное, и есть то, что бабушка называла «совестью», совестью, которая не даёт тебе спать, которая сидит внутри, как маленький, противный чертёнок, и шепчет: «А ты-то кто, мальчик?», и я не знал, что ответить, потому что впервые за четыре года — не знал.

Бабушка говорила: «Зеркала, Алёшенька, они как окна, только наоборот, ты в них смотришь, а из них на тебя смотрят, и если увидишь не себя — беги, не оглядывайся, потому что это значит, что ты себя потерял, а потерянного человека — не ищут, его — находят другие, и не всегда добрые». А я не бежал, я встал, и пошёл к зеркалу, потому что мне нужно было посмотреть, нужно было убедиться, что я — это я, что нос опух, но это мой нос, что губа

разбита, но это моя губа, что серые глаза — мои, даже если они сегодня выглядят чужими, как чужим выглядит весь этот мир, когда ты впервые понимаешь, что правила, по которым ты жил, — не работают.

Я подошёл к зеркалу, большому, во всю стену, с трещиной в углу, кто-то ударил кулаком в прошлом году, трещину не заклеили, в Итоне не любят, когда вещи выглядят новыми, в Итоне любят, когда вещи — с историей, как портреты на стенах, как правила, как презрение, и я посмотрел на себя, и увидел — не себя.

На секунду.

Только на секунду.

Но этого хватило.

В зеркале было — то лицо, бородатое, с перебитым носом, из сна, и оно смотрело на меня, и улыбалось, и я моргнул, и оно исчезло, и снова — я, нос опухший, губа разбитая, глаза чужие, и я подумал, что это от усталости, что это от недосыпа, что это от всего того, что накопилось за четыре года, и что надо просто умыться, и всё пройдёт, но я не пошёл умываться, я стоял и смотрел, и видел, как трещина делит моё лицо на две половины, и одна половина была английская, правильная, с аккуратно причёсанными волосами и глазами, которые никогда не врут, а другая — ну, другая была какая-то другая, и я не знал, какая, потому что не смотрел на неё достаточно долго, чтобы понять, и, может быть, не хотел понимать, потому что понять — это значит признать, а признать — это значит изменить, а менять — я не хотел, я хотел, чтобы всё было как было, как в том фильме, где герой в конце возвращается домой, и всё становится на свои места, и титры, и занавес, и можно идти спать, но жизнь, как оказалось, не как фильм, жизнь — как та заноза, которая сидит в бедре, и ты её чувствуешь, но не можешь вытащить, потому что не знаешь, где она.

Дверь скрипнула, и вошёл Томлинсон, прижался к косяку, как будто боялся, что его выгонят, и посмотрел на меня, и увидел моё лицо, и его собственное лицо стало таким, как будто он съел лимон с кожурой, и он сказал:

— Неплохо, Волков, Брэдшоу до сих пор держится за печень, говорят, он теперь будет есть только суп, неделю, как минимум.

Я посмотрел на него, и подумал, что Томлинсон — хороший парень, в своём роде, он не злой, он просто боится, боится всего, боится не сдать экзамены, боится не поступить в университет, боится, что отец его разнаследует, боится, что умрёт, не оставив следа, и этот страх сидел в нём, как червь в яблоке, и портит его изнутри, и я понимал его, потому что сам боялся, только боялся другого, я боялся, что я — не тот, кем себя считал, и что однажды кто-то посмотрит на меня и скажет: «А ты, оказывается, не Волков, ты кто-то другой, и мы все это знали, просто не говорили».

— Спасибо, — сказал я.

— Ты в порядке? — он замялся, посмотрел по сторонам, как будто боялся, что нас кто-то подслушает, хотя в раздевалке, кроме нас, не было никого, если не считать ту штуку, что росла в углу, и которая, как мне казалось, тоже слушала, очень внимательно. — Нос, ну, он, типа, того, картошкой стал.

— Бывает, — сказал я, и подумал, что «бывает» — это, наверное, самое английское слово, которое я знаю, потому что оно означает всё, и ничего, и «да», и «нет», и «мне больно», и «мне всё равно», и «я в порядке», и «я не в порядке», и это, как говорится, очень удобно, когда ты не знаешь, что сказать, но знаешь, что надо сказать что-то, чтобы не повисла тишина, потому что тишина — она, как трещина, она растёт, если её не заполнять словами, даже самыми пустыми.

Томлинсон пожал плечами, и пошёл к душам, и я подумал, что он, наверное, рад уйти, рад оставить меня одного, потому что со мной, как оказалось, сегодня не очень уютно, со мной

— как с тем зеркалом, в котором трещина, и ты смотришь, и не знаешь, что увидишь, себя или кого-то другого, и это, как говорил мой любимый писатель, очень тревожно.

Достоевский в «Двойнике» писал про Голядкина, который встретил своего точного двойника, и этот двойник был во всём лучше его, и умнее, и вежливее, и в итоге Голядкин сошёл с ума, потому что не мог понять, кто из них настоящий, и я, если честно, понимал Голядкина, потому что сам сейчас стоял перед зеркалом, и не мог понять, кто из нас настоящий, я — с опухшим носом и разбитой губой, или тот — с бородой и перебитым носом, который улыбался мне из зеркала, и который, как мне казалось, знал что-то, чего не знал я, и это что-то — было важно, очень важно, но я не мог до него дотянуться, как не можешь дотянуться до своего отражения, сколько бы ни тянулся.

Я отвернулся от зеркала, и пошёл к шкафчику, и открыл его, и достал рубашку, белую, запасную, и начал переодеваться, и в этот момент я почувствовал запах, слабый, еле уловимый, но я его узнал, узнал сразу, как узнают голос матери в толпе, и это был запах печного дыма, запах бабушкиной избы, запах кислого теста, которое она пекла по воскресеньям, и я оглянулся, но в раздевалке никого не было, только та штука в углу, которая, как мне казалось, смотрела на меня очень внимательно, и я подумал, что это от усталости, что это от крови, которая потерялась, что это от всего того, что случилось сегодня, но запах — не уходил, он был внутри, как заноза, как трещина, как вопрос, на который я не знал ответа, и я подумал, что, может быть, это и есть тот самый зов, о котором говорила бабушка, зов, от которого не убежишь, который догонит, который настигнет, который — ты.

Я переоделся, и посмотрел в зеркало — в последний раз, и увидел — себя, только себя, нос опухший, губа разбитая, глаза серые, и я сказал, тихо, по-русски, с тем самым акцентом, который я так старательно стирал из себя четыре года:

— Кто я?

Зеркало, молчало, но я знал, что ответ рано или поздно придёт и этот ответ будет стоять мне всего.

Глава 3. Быть русским, это не диагноз

Столовая Итона пахла тостами, беконом и чужими взглядами, и последнее пахло хуже всего, потому что тосты и бекон — это, по крайней мере, честно, а чужие взгляды — это всегда расчёт, всегда оценка, всегда вопрос: «А ты кто такой и сколько стоит твой папа?», и я шёл к своему столу, третий ряд от окна, и чувствовал, как на меня смотрят, как смотрят на экспонат в музее, который вдруг сошёл с пьедестала и пошёл по залам, и это было неприятно, но, с другой стороны, странно приятно, потому что впервые за четыре года на меня смотрели не как на идеального, а как на живого, а живое, как известно, всегда интереснее идеального, хотя в Итоне об этом не говорят, в Итоне говорят только об идеальном, и идеальное, как правило, не имеет разбитого носа.

Чарльз уже сидел, «Таймс» сложен, чай остыл, он поднял глаза, увидел моё лицо, и вместо того, чтобы спросить «ты в порядке?», как спросил бы любой нормальный человек, он медленно, с наслаждением, как кот, который нашёл мышь в своём ботинке, отложил газету и ткнул пальцем в первую полосу, и я увидел свою фамилию, и у меня внутри что-то сжалось, как кулак Брэдшоу, только без перчатки, и на фото был мой отец, Виктор Волков, костюм от Brioni, часы Patek Philippe, улыбка — та самая, которую я видел только на деловых ужинах, улыбка, которая говорила: «Я купил тебя, и ты будешь улыбаться, когда я скажу», и заголовок гласил: «Олигарх Волков приобрёл контрольный пакет акций лондонского банка», и Чарльз сказал: «Поздравляю, Volkov, теперь ты не просто русский, ты — богатый русский, это, знаешь ли, совсем другой уровень, бедных русских здесь презирают, богатых — боятся, разница существенная, как между крысой и крысой с золотыми часами», и он откусил тост, и крошки посыпались на газету, прямо на фото отца, и я смотрел на эти крошки и думал, что это либо символ, либо просто Чарльз жрёт как свинья, хотя свиньи, как правило, не читают «Таймс» за завтраком.

Отец на фото держал в руке часы, и я узнал их — латунный циферблат, как у тех, что стояли на моей тумбочке и всегда показывали шесть тридцать, и я подумал, что эти часы — как тот чемодан, с которым я приехал в Итон в тринадцать лет: вроде бы твой, а вроде бы нет, вроде бы семейная реликвия, а вроде бы просто старьё, которое никто не хочет выбросить, и я вспомнил, как отец говорил мне, уже в машине, по дороге сюда: «Ты будешь джентльменом, Алексей, ты будешь пить чай с лордами, и никто не узнает, что ты русский, если ты сам не скажешь», и я тогда кивнул, потому что не знал, что ответить, и потому что боялся, что если не кивну, он рассердится, а отец сердился редко, но метко, как снайпер, и вот теперь я пил чай с лордами, и лорды видели во мне не джентльмена, а кошелёк, и это, как говорится, не в свои сани не садись, хотя сани были мои, и лошадь была моя, и дорога была моя, но ехал я не туда.

Я поставил чашку, тихо, аккуратно, ручка вправо, ложка параллельно, всё как надо, всё как у всех, и посмотрел на свои руки — красные костяшки, ссадины, кровь, моя и Брэдшоу, смешалась, стала одной, а потом посмотрел на руки Чарльза — ухоженные, чистые, с аккуратными ногтями, руки пианиста, руки человека, который никогда не дрался по-настоящему, и подумал, что мы сидим за одним столом, пьём один чай, читаем одну газету, но руки у нас разные, и это, как бы, говорит о нас больше, чем все слова, которые мы когда-либо скажем друг другу, и я вспомнил Гэтсби, того самого, из книги Фицджеральда, который разбогател, купил особняк напротив своей любви, устраивал вечеринки, на которые приезжал весь Нью-Йорк, но так и остался чужаком для старой аристократии, потому что они видели в нём не человека, а выскочку с деньгами, и Том Бьюкенен сказал про него: «Он никто, мистер Никто из Ниоткуда», и это, пожалуй, самое точное описание того, что я чувствовал сейчас, сидя в столовой Итона с разбитым носом и фамилией на первой полосе «Таймс», потому что я был

мистер Никто из Ниоткуда, только с деньгами, и деньги, как оказалось, не делали меня своим, они делали меня мишенью.

— Чарльз, — сказал я, и голос у меня был ровный, потому что в Итоне голос всегда ровный, даже когда внутри всё перевернуто вверх дном, как чемодан, который уронили с лестницы, — ты когда-нибудь задумывался, почему я здесь?

— Потому что твой отец заплатил двенадцать тысяч фунтов в год? — сказал Чарльз и улыбнулся, той самой улыбкой, «я пошутил, но не совсем».

— Нет, — сказал я. — Серьёзно.

И Чарльз — впервые за весь разговор, впервые, может быть, за все четыре года, что я его знал — посмотрел на меня без улыбки, и в его глазах было что-то, чего я раньше не видел, что-то вроде страха, или уважения, или того и другого вместе, и он отложил газету, и крошки так и остались на фото отца, маленькие памятники его безупречности, рассыпанные по передовице, и я понял, что сейчас он скажет что-то, от чего я не отмахнусь.

Чарльз смотрел на меня долго, как смотрят на задачу, которую не могут решить, и я чувствовал, как тишина между нами густеет, как тот кисель, что подавали в столовой по четвергам, и который никто не ел, но все делали вид, что едят, потому что в Итоне делать вид — это, пожалуй, главное умение, важнее латыни, важнее бокса, важнее всего, и наконец он заговорил, и голос у него был не тот, что обычно, не ироничный, не саркастичный, а какой-то другой, как будто он говорил не со мной, а с самим собой, как будто он наконец снял маску, которую носил четыре года, и под маской оказался не Чарльз Уитмор, сын баронета, крестник лорда, а просто мальчик, который очень боится, и я подумал, что, может быть, мы с ним похожи больше, чем я думал, только я боюсь одного, а он — другого, и это, как говорится, не делает нас друзьями, но делает, по крайней мере, не врагами.

— Ты здесь, — сказал он наконец, и пауза между «ты» и «здесь» была такой длинной, что в неё можно было уместить целую жизнь, — потому что твой отец хочет, чтобы ты стал одним из нас, чтобы ты перестал быть, ну, знаешь, тем, кем ты родился, и я подумал, что это, пожалуй, самое честное, что он мне когда-либо говорил, потому что я и сам это знал, знал с тринадцати лет, с того дня, как отец привёз меня в Итон, и сказал: «Мужчины не плачут, Алексей, мужчины делают выбор», и я перестал плакать, и больше не плакал никогда, по крайней мере при нём, и это, как оказалось, и был тот самый выбор, выбор не плакать, выбор не быть русским, выбор быть тем, кем меня хотели видеть, а не тем, кем я был, и я, если честно, не знал, хорошо это или плохо, потому что быть тем, кем тебя хотят видеть, — это, может быть, и удобно, но это, как сказал бы мой любимый писатель, очень похоже на жизнь в стеклянной банке, где все тебя видят, но никто не может до тебя дотронуться, и ты тоже не можешь дотронуться ни до кого, и это, как говорится, очень одиноко, хотя в Итоне об одиночестве не говорят, в Итоне говорят о дружбе, о верности, о традициях, и всё это — красивые слова, но за ними — та самая стеклянная банка, и я в ней, и Чарльз в ней, и все мы в ней, и никто не знает, как из неё выбраться, потому что выбраться — значит разбить банку, а разбить банку — значит разбить всё, что ты знаешь о себе, и это, как говорится, страшно, даже если то, что ты знаешь о себе, — не правда.

Отец в машине, по дороге в Итон, говорил мне про лордов, про чай, про то, что я буду пить чай с лордами, и я помню, как он посмотрел на меня в зеркало заднего вида, и в его глазах было что-то, чего я тогда не понял, а понял только сейчас, стоя в этой столовой, с разбитым носом и фамилией на первой полосе «Таймс», и это было — страх, страх отца, который боится, что сын станет таким, как он сам, как тот мальчик из деревни, который приехал в Москву в девятнадцатом году, с одним чемоданом и русским акцентом, и который стал тем, кем стал, потому что решил, что русский акцент — это приговор, и что единственный способ избежать приговора — это выправить его из себя, из сына, из всех, кто будет после, и я, если честно, не знаю, простил ли я ему это, и знаю ли я, что простил бы, если бы спросил,

и не знаю, спросил бы ли я, если бы знал, что он ответит, потому что отец, как известно, всегда отвечает честно, только честно — не то, что ты хочешь услышать, а то, что он думает, и это, как говорится, две большие разницы.

— Volkov, — сказал Чарльз, и я увидел, что он собирается сказать что-то важное, что-то, от чего не отмахнёшься, что-то, что изменит всё, или, по крайней мере, изменит меня, — ты лучший боксёр в школе, ты читаешь Вергилия быстрее, чем я, ты говоришь без акцента, ты пьёшь чай правильно, ты — идеальный, и я подумал, что это, пожалуй, самый странный комплимент, который я когда-либо получал, потому что «идеальный» — это, как известно, не про человека, а про машину, про часы, про швейцарские часы, которые никогда не врут, как он сам сказал мне сегодня утром, и я, если честно, не знал, радоваться этому или огорчаться, потому что быть идеальным — это, может быть, и хорошо, но это, как сказал бы мой любимый писатель, очень похоже на то, чтобы быть ловцом во ржи, то есть стоять на краю пропасти и ловить детей, которые бегут и не видят, что бегут в пропасть, и ты их ловишь, и спасаешь, и никто не знает, что ты сделал, и ты сам не знаешь, зачем ты это делаешь, потому что детей, может быть, и нужно спасать, но, может быть, и не нужно, может быть, они сами хотят упасть, может быть, падение — это и есть то, что им нужно, чтобы стать теми, кем они должны стать, и я, если честно, не знал, кто я, ловец или ребёнок, и знал ли я, что хочу быть тем или другим.

— Но, — сказал Чарльз, и это «но» повисло в воздухе, как топор над плахой, и я почувствовал, как внутри что-то сжалось, как кулак Брэдшоу, только без перчатки, — ты — русский, и это, как говорится, не комплимент, и не оскорбление, это — факт, как то, что сегодня четверг, и что в столовой подают кисель, и что мистер Тэйт опять опоздал на обед, и он посмотрел на меня, и в его глазах было что-то, чего я раньше не видел, что-то вроде жалости, или зависти, или того и другого вместе, и он сказал, тихо, почти шёпотом, как будто боялся, что его услышат, как будто боялся, что эти слова, произнесённые вслух, станут реальностью, от которой не отмахнёшься:

— Being Russian is not a diagnosis, Volkov, but there is no cure.

Быть русским — это не диагноз, но лечения нет.

И я поставил чашку, тихо, аккуратно, ручка вправо, ложка параллельно, всё как надо, всё как у всех, и внутри что-то оборвалось, не громко, не с треском, тихо, как нитка, которую тянули четыре года, и которая наконец — лопнула, и я подумал, что это, наверное, и есть то, что бабушка называла «моментом истины», моментом, когда ты перестаёшь притворяться, и начинаешь быть, и это, как говорится, очень страшно, потому что быть — это не то же самое, что казаться, и я, если честно, не знал, хочу ли я быть, или хочу ли я дальше казаться, потому что казаться — удобно, а быть — больно, и я, как известно, не любил боль, по крайней мере, свою, хотя чужую — ещё меньше, и это, как говорится, очень по-человечески, хотя в Итоне про человечность не говорят, в Итоне говорят про джентльменство, а джентльменство, как оказалось, — это не про человечность, а про то, чтобы не показывать, что ты человек, и я, если честно, устал не показывать, устал быть идеальным, устал быть часами, которые никогда не врут, и я подумал, что, может быть, Чарльз прав, что лечения нет, и что это, как говорится, не приговор, а освобождение, потому что если лечения нет, то и болеть нечем, а если болеть нечем, то и быть — можно, и это, как говорится, очень странно, но, может быть, и правильно.

За соседним столом кто-то уронил ложку, и звук был, как выстрел, и все вздрогнули, кроме нас, потому что мы были в своём мире, в том самом стеклянном банке, о котором я думал, и я посмотрел на Чарльза, и увидел, что он тоже слышал этот звук, и что он, как и я, не вздрогнул, и что это, наверное, и есть та самая связь, которая бывает между людьми, которые вместе боятся, и которая, как известно, сильнее любой дружбы, потому что дружба — это про радость, а страх — это про выживание, и выживание, как говорится, всегда важнее.

— Ты обиделся? — спросил Чарльз, и голос у него был снова тот, ироничный, саркастичный, как будто он снова надел маску, как будто тот момент честности был случайностью,

как будто его и не было, и я подумал, что это, наверное, и есть та самая английская сдержанность, о которой так много говорят, сдержанность, которая не даёт тебе быть собой, которая не даёт тебе показать, что тебе больно, что тебе страшно, что ты — человек, а не часы, и я, если честно, не знал, хочу ли я быть таким, как Чарльз, или хочу ли я быть другим, и знал ли я, что это «другое» — вообще существует, или это — просто сказка, которую рассказывают детям, чтобы они не боялись темноты.

— Нет, — сказал я, и это было неправда, потому что я обиделся, обиделся не на Чарльза, а на себя, на отца, на всех, кто сделал меня тем, кто я есть, и кто не спросил, хочу ли я быть этим, и я встал, и сложил салфетку, ровно, пополам, ещё раз пополам, положил справа от тарелки, всё как надо, всё как у всех, и пошёл к выходу, и чувствовал, как на меня смотрят, как смотрят на человека, который только что услышал что-то важное, но не знает, что с этим делать, и это, как говорится, очень по-человечески, хотя в Итоне про человечность не говорят.

И в этот момент телефон в кармане завибрировал, и я достал его, и увидел имя, которое не видел два года, имя, которое было как удар, как тот удар Брэдшоу, только без перчатки, и я подумал, что это, наверное, не случайность, что этот звонок — сейчас, что кто-то, кто-то, кто знает меня, кто помнит меня, кто-то, кто — мой, зовёт меня, и я не знал, кто это, но знал, что ответить — придётся.

Коридор пах воском и старой бумагой, и это был запах Итона, запах, который я вдыхал четыре года и который, как мне казалось, стал моим, как становится твоим запах квартиры, в которой ты живёшь долго, но сейчас, идя по этому коридору с разбитым носом и телефоном в руке, я вдруг понял, что это не мой запах, что это запах чужой квартиры, в которой я жил по чужим правилам, и что я, как тот самый гость, который overstayed his welcome, как говорят англичане, и я шёл, и чувствовал, как стены смотрят на меня, как смотрят на человека, который только что услышал что-то важное, но не знает, что с этим делать, и это, как говорится, очень по-человечески, хотя в Итоне про человечность не говорят, в Итоне говорят про традиции, и я подумал, что традиции — это хорошо, но только если они твои, а не чужие, потому что чужие традиции — это, как чужая одежда, вроде бы красиво, но не по размеру, и жмёт, и натирает, и в конце концов ты её снимаешь, и остаёшься в том, что есть, и это, как говорится, очень страшно, но, может быть, и правильно.

Телефон завибрировал снова, и я посмотрел на экран, и увидел имя, которое не видел два года, имя, которое было как удар, как тот удар Брэдшоу, только без перчатки, и это было — Саша, моя сводная сестра, дочь отца от второго брака, пятнадцать лет, худая, с большими серыми глазами, как у меня, как у бабушки, как у всех Волковых, и я вспомнил, как она звонила мне на прошлой неделе, плакала, говорила про сны, и я не дослушал, сказал: «Я занят, перезвоню», и не перезвонил, и теперь, стоя в этом коридоре, с разбитым носом и её именем на экране, я почувствовал вину, ту самую вину, которая, как говорят, хуже боли, потому что боль — это про тело, а вина — это про душу, и душа, как известно, болит дольше, и я нажал «ответить», и услышал её голос, дрожащий, детский, хотя ей уже пятнадцать, и она сказала, и голос её срывался, как голос человека, который боится, что его не услышат, что его не поймут, что его снова отправят в ту комнату, где никто не верит:

— Алёша, мне опять приснилось это поле, белое, большое, и люди в белых рубахах, и кровь на снегу, чёрная, густая, как машинное масло, и мне страшно, Алёша, мне очень страшно, и я не знаю, что делать, и я позвонила тебе, потому что больше никому, потому что папа не верит, папа говорит, что это нервы, что это от того, что мама умерла, но я знаю, что это не нервы, я знаю, что это — правда, потому что мои сны — они сбываются, Алёша, они всегда сбываются, и я боюсь, что этот сон — тоже сбудется, и что с тобой случится что-то плохое, и я не хочу, чтобы это случилось, я не хочу, Алёша, пожалуйста, скажи мне, что это не правда, скажи мне, что это просто сон, просто страшный сон, который забудется утром, как забываются все страшные сны.

И я стоял, и слушал, и чувствовал, как внутри что-то холодеет, как будто я стою босиком на снегу, и снег — белый, и кровь — чёрная, и люди в белых рубашках — это те самые люди, которых я вижу в своём сне, в том самом сне, который снится мне каждую ночь уже четыре года, с тех самых пор, как я приехал в Итон, с тех самых пор, как отец оставил меня в этом месте, и сказал: «Мужчины не плачут, Алексей», и я не плакал, и спал, и видел этот сон, и просыпался в холодном поту, и не говорил никому, потому что в Итоне не говорят про сны, в Итоне говорят про расписание, и я подумал, что это, наверное, и есть та самая родовая память, о которой говорила бабушка, та самая память, которая сидит в крови, в костях, в клетках, и которая не даёт тебе забыть, кто ты, откуда ты, и куда ты должен вернуться, и я вспомнил бабушку, как она стояла на крыльце, в белом платке, и махала мне рукой, когда я уезжал, и сказала: «Корни, Алёшенька, корни, без корней дерево падает», и я тогда не понял, что она имела в виду, а теперь — понял, и понял, что имя, которое она мне дала, имя Алёша, — это не просто имя, это — завет, это — путь, это — то, кем я должен стать, и я вспомнил, как она говорила мне, ещё маленьким, про Алёшу Карамазова, про того самого, из книги Достоевского, про мальчика, который стал монахом, а потом вернулся в мир, и который, как она говорила, «прошёл через страдание и стал человеком», и я тогда не понял, почему она выбрала именно это имя, именно этого героя, а теперь — понял, потому что Алёша Карамазов — это не просто герой, это — архетип, это — путь, это — то, что должно случиться с каждым, кто хочет стать человеком, а не функцией, не часами, не роботом, а человеком, который чувствует, который страдает, который помнит, и я подумал, что, может быть, бабушка знала, знала, что я пройду этот путь, знала, что я вернусь, и оставила мне это имя, как нитку, как путеводную нить, как тот самый клубок, который ведёт через лабиринт, и я, если честно, не знал, рад я этому или нет, но знал, что назад — дороги нет, и что вперёд — идти придётся, и что этот звонок Саши — это не случайность, это — знак, это — зов, это — то, от чего не убежишь.

— Саша, — сказал я, и голос у меня был ровный, потому что в Итоне голос всегда ровный, даже когда внутри всё перевёрнуто вверх дном, — Расскажи мне всё, Расскажи мне про сон, про поле, про людей, про всё, не пропускай ничего, потому что я, кажется, знаю, что это значит, и я, если честно, не знаю, хорошо это или плохо, но знаю, что это — важно, очень важно, и что мы с тобой — не одни, что есть кто-то, кто зовёт нас, кто-то, кто знает нас, кто-то, кто — наш, и я не знаю, кто это, но знаю, что это — не случайность, и что мы должны вспомнить, вспомнить то, что забыли, то, что от нас спрятали, то, что у нас отняли, и я подумал, что это, наверное, и есть та самая правда, о которой говорила бабушка, правда, которая не в словах, а в крови, не в голове, а в сердце, не в расписании, а в снах, и что мы, может быть, и не выбирали этот путь, но он — выбрал нас, и что идти по нему — придётся, и что назад — дороги нет, и что вперёд — идти придётся, и что этот звонок — только начало.

И Саша рассказала, и голос её был тихий, как голос человека, который боится, что его услышат, и она рассказала про белое поле, и про людей в белых рубашках, и про кровь на снегу, и про старика, который стоял у огня, и который посмотрел на неё, и сказал: «Скажи брату, чтобы не забыл», и я замер, и почувствовал, как внутри что-то холодеет, как будто я стою босиком на снегу, и снег — белый, и кровь — чёрная, и старик у огня — это тот самый старик, которого я ещё не встречал, но которого, как мне казалось, я знал всегда, и я подумал, что это, наверное, и есть та самая магия, о которой говорила бабушка, магия, которая не в словах, а в крови, не в голове, а в сердце, не в расписании, а в снах, и что мы, может быть, и не выбирали этот путь, но он — выбрал нас, и что идти по нему — придётся.

— Алёша, — сказала Саша, и голос её был совсем тихий, как голос человека, который боится, что его не услышат, — там был ещё кто-то, там был мальчик, он стоял в стороне, и смотрел на меня, и он был — как ты, только старше, только с бородой, и он улыбался, и я поняла, что это — ты, что это — ты, но не сейчас, а потом, что это — ты, который вспомнил, который вернулся, который стал тем, кем должен был стать, и я не знаю, что это значит, Алёша,

я не знаю, но я знаю, что это — правда, и что ты должен вспомнить, и что ты должен вернуться, и что я — буду ждать, я буду ждать тебя, Алёша, я буду ждать, сколько придётся, потому что ты — мой брат, и потому что кровь — не вода, и потому что корни — важнее всего, и я подумал, что это, наверное, и есть та самая любовь, о которой говорила бабушка, любовь, которая не в словах, а в крови, не в голове, а в сердце, не в расписании, а в снах, и что мы, может быть, и не выбирали этот путь, но он — выбрал нас, и что идти по нему — придётся, и что назад — дороги нет, и что вперёд — идти придётся.

Я стоял, и слушал, и чувствовал, как внутри что-то тёплее, как будто я стою у огня, и огонь — тёплый, и старик — рядом, и мальчик с бородой — улыбается, и я подумал, что это, наверное, и есть та самая семья, о которой говорила бабушка, семья, которая не в крови, а в памяти, не в имени, а в пути, не в расписании, а в снах, и что мы, может быть, и не выбирали этот путь, но он — выбрал нас, и что идти по нему — придётся, и что назад — дороги нет, и что вперёд — идти придётся, и что этот звонок — только начало.

— Саша, — сказал я, — я не знаю, что это значит, я не знаю, что будет, но я знаю, что я — вспомню, я вспомню всё, что забыл, я вернусь, я стану тем, кем должен был стать, и я — приеду, я приеду домой, я приеду к тебе, и мы — вспомним вместе, и я подумал, что это, наверное, и есть то самое обещание, которое дают братья друг другу, обещание, которое не в словах, а в крови, не в голове, а в сердце, не в расписании, а в снах, и что мы, может быть, и не выбирали этот путь, но он — выбрал нас.

Я положил телефон, и стоял, и чувствовал, как внутри что-то меняется, как будто я стою на пороге, и порог — между двумя мирами, и один мир — это Итон, это расписание, это правила, это холодный чай и ухоженные руки, а другой мир — это белое поле, это кровь на снегу, это старик у огня, это мальчик с бородой, это то, что я забыл, но что помнит моя кровь, и я подумал, что это, наверное, и есть тот самый выбор, о котором говорила бабушка, выбор не между хорошим и плохим, а между тем, кем тебя хотят видеть, и тем, кем ты есть, и что я, если честно, не знал, готов ли я к этому выбору, но знал, что он — придёт, и что мне — придётся выбрать, и что назад — дороги нет.

И в этот момент телефон снова завибрировал, и я посмотрел на экран, и увидел уведомление, которое было как удар, как тот удар Брэдшоу, только без перчатки, и это было — **«Пропущенный вызов: Отец»**, и я подумал, что это, наверное, и есть та самая расплата, о которой говорила бабушка, расплата за то, что ты не сразу ответил, за то, что ты не сразу вспомнил, за то, что ты — четыре года притворялся тем, кем не являешься, и я посмотрел на уведомление, и не нажал «перезвонить», потому что знал, что сейчас — не время, сейчас — время вспомнить, и я пошёл — в библиотеку, потому что там — есть книга, книга, которую я видел в Оксфорде, книга, которая называется «Очерки народного быта. Кулачные бои», и я — не знаю, почему, но знаю, что эта книга — важна, очень важна, и что она — ждёт меня, и что я — должен её взять, и что с этого момента — всё изменится, и что назад — дороги нет.

Г

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.